

**МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ**



В учреждения и на предприятия требуются: старшие бухгалтеры, инженеры и техники-строители, инженеры-механики, инженеры по автоделу, автослесари, шоферы, грузчики, экспедиторы, секретари-машинистки, плановики, десятники-строители, строительные рабочие всех квалификаций...

Объявление

— А ты пока сиди, слушай, набирайся опыта, — сказал Глеб Жеглов и сразу позабыл обо мне; и чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я отодвинулся к стене, украшенной старым выгоревшим плакатом: «Наркомвнуделец! Экономя электричество, ты помогаешь фронту!»

Фронта давно уже не было, но электричество приходилось экономить все равно — лампочка и сейчас горела вполнакала. Серый сентябрьский день незаметно перетекал в тусклый мокрый вечер, желтая груша стосвечовки дымным пятном отсвечивала в сизой измороси оконного стекла. В кабинете было холодно: из-под верхней овальной фрамуги, все еще заклеенной крест-накрест белыми полосками, поддувало пронзительным едким холодком.

Я не обижался, что они разговаривают так, словно на моем венском стуле с нелепыми рахитичными ножками сидит манекен, а не Шарапов — их новый сотрудник и товарищ. Я понимал, что здесь не просто уголовный розыск, а самое пекло его — отдел борьбы с бандитизмом и в этом милом учреждении некому, да и некогда заниматься со мной разыскным ликбезом. Но в душе оседала досадливая горечь и неловкость от самой ситуации, в которой мне была отведена роль школяра, пропустившего весь учебный год и теперь бестолково и непонятливо хлопающего ушами, тогда как мои прилежные и трудолюбивые товарищи уже приступили к решению задач повышенной сложности. И от этого я бессознательно контролировал все их слова и предложения, пытаюсь найти хоть малейшую неувязку в рассуждениях и опрометчивость в выводах. Но не мог: детали операции, которую они сейчас так увлеченно об-

суждали, мне были неизвестны, спрашивать я не хотел, и только из отдельных фраз, реплик, вопросов и ответов вырисовывался смысл задачи под названием «внедрение в банду».

Вор Сенька Тузик, которого Жеглов не то припугнул, не то уговорил — этого я не понял, — но во всяком случае этот вор пообещался вывести на банду «Черная кошка». Он согласился передать бандитам, что фартовый человек ищет настоящих воров в законе, чтобы вместе сварганить миллионное дело. Для внедрения в банду был специально вызван оперативник из Ярославля: чтобы ни один человек даже случайно не мог опознать его в Москве. А сегодня утром позвонил Тузик и сказал, что фартового человека будут ждать в девять вечера на Цветном бульваре, третья скамейка слева от входа со стороны Центрального рынка.

Оперативник Векшин, который должен был сыграть фартового человека, мне не понравился. У него были прямые соломенные волосы, круглые птичьи глаза и голубая наколка на правой руке: «Вася». Он изо всех сил старался показать, что предстоящая встреча его нисколько не волнует, и бандитов он совсем не боится, и что у себя в Ярославле он и не такие дела проворачивал. Поэтому он все время шутил, старался вставить в разговор какие-то анекдотики, сам же первый им смеялся и, выбрав именно меня — как новенького и безусловно еще менее опытного, чем он сам, — спросил:

— А ты по фене ботаешь?

А я командовал штрафной ротой и повидал таких уркаганов, какие Векшину, наверное, и не снились, и потому свободно владел блатным жаргоном, но сейчас говорить об этом было неуместно — вроде самохвальства, — и я промолчал, а Векшин коротко всхотнул и сказал Жеглову:

— Вы не сомневайтесь, товарищ капитан! — И мне послышался в его мальчишеском голосе звенящий истеричный накал. — Все сделаю в лучшем виде! Оглянуться не успеют, как шашка прыгнет в дамки!

От долгой неподвижности затекла нога, я переменял позу, венский стул подо мной пронзительно закрипел, и все посмотрели на меня. Но поскольку я сидел, по-прежнему каменно молча, то все снова повернулись к Векшину, и Жеглов, рубя ладонью стол, сказал:

— Ты запомни, Векшин: никакой самодеятельности от тебя не требуется: не вздумай лепить горбатого — изображать вора в законе. Твоя задача проста, ты человек маленький, лопушок, шестерка

на побегушках. Тебя, мол, отрядили выяснить — есть ли с кем разговаривать? Коли они согласны брать сберкассу, где работает твоя баба-подводчица, то придет с ними разговаривать пахан. Ищете связи потому, что вас, мол, мало и в наличии только один ствол...

— А если они спросят, почему сразу не пришел пахан? — Круглые сорочьи глаза Васи Векшина горели, и он все время потирал одна о другую красные детские ладони, вылезавшие вместе с тонкими запястьями далеко из рукавов мышинного кургузого пиджачка.

— Скажешь, что пахан их не глупее, чтобы соваться как кур в ощи́п: откуда вам знать, что с ними не придет уголовка? А сам ты, мол, розыска не боишься, поскольку на тебе ничего особого нету и про дело предстоящее при всем желании рассказать никому ничего не можешь — сам пока не в курсе...

Лицо у Жеглова было сердитое и грустное одновременно, и мне казалось, что он тоже не уверен в парнишке. И неожиданно мне пришла мысль предложить себя вместо Векшина. Конечно, я первый день в МУРе, но, наверное, уж все, что этот мальчишка может сделать, я тоже сумею. В конце концов, даже если я провалюсь с этим заданием и бандит, вышедший на связь, меня расшифрует, то я смогу его, попросту говоря, скрутить и живьем доставить на Петровку, 38. Ведь это тоже будет совсем неплохо! Перетаскав за четыре года войны порядочно «языков» через линию фронта, я точно знал, как много может рассказать захваченный врасплох человек. В том, что его, этого захваченного мною бандита, удастся «разговорить» в МУРе, я совершенно не сомневался. Поэтому вся затея, где главная роль отводилась этому желторотому сосунку Векшину, казалась мне ненадежной. Да и нецелесообразной.

Я снова качнулся на стуле (он пронзительно взвизгнул — дурацкий стульчик, на гнутой спинке которого висела круглая жестяная бирка, похожая на медаль) и сказал, слегка откашлявшись:

— А может, есть смысл захватить этого бандита и потолковать с ним всерьез здесь?

Все оглянулись на меня, мгновение в кабинете стлыла недолгая тишина, расколовшаяся затем оглушительным хохотом. Заходилась тонким фальцетом Векшин, мягко похохатывал баритончиком Жеглов, лениво раздвигая заветренные губы, сбрасывал ломти солидного сержантского смеха Иван Пасюк, вытирал под толстыми стеклами очков выступившие от веселья слезы фотограф Гриша...

Я не спеша переводил взгляд с одного лица на другое, пока не остановился на Жеглове; и тот резко оборвал смех, и все остальные замолчали, будто он беззвучно скомандовал: «Смирно!» Только Векшин не смог совладать с мальчишеской своей смешливостью и хихикнул еще пару раз на разгоне...

Жеглов положил руку мне на плечо и сказал:

— У нас здесь, друг ситный, не фронт! Нам «языки» без надобности...

И я удивился, как Жеглов точно угадал мою мысль. Конечно, лучше всего было бы промолчать и дать им возможность забыть о моем предложении, которое, судя по реакции, показалось им всем вопиющей глупостью, или нелепостью, или неграмотностью. Но я уже завелся, а заводясь, я не впадаю в горячее возбуждение, а становлюсь упорным, как танк. Потому и спросил, спокойно и негромко:

— А почему же вам «языки» без надобности?

Жеглов повертел папироску в руках, подул в нее со свистом, пожал плечами:

— Потому что на фронте закон простой: «язык», которого ты приволок, — противник, и вопрос с ним ясный до конца. А бандита, которого ты скрутишь, только тогда можешь назвать врагом, когда докажешь, что он совершил преступление. Вот мы возьмем его, а он нас пошлет подальше...

— Как это «пошлет»? Он на то и «язык», чтобы рассказывать, чего спрашивают. А доказать потом можно, — убежденно сказал я.

Жеглов прикурил папироску, выпустил струю дыма, спросил без нажима:

— На фронте, если «язык» молчит, что с ним делают?

— Как что? — удивился я. — Поступают с ним, как говорится, по законам военного времени.

— Вот именно, — согласился Жеглов. — А почему? Потому что он солдат или офицер вражеской армии, воюет с тобой с оружием в руках, и вина его не требует доказательств...

— А бандит без оружия, что ли? — упирался я.

— На встречу вполне может прийти без оружия.

— И что?

— А то. В паспорте у него не написано, что он бандит. Наоборот даже — написано, что он гражданин. Прописка по какому-нибудь там Кривоколенному, пять. Возьми-ка его за рупь двадцать!

— Если всерьез говорить, то крупный преступник сейчас много хуже фашиста, — сказал, вращая круглыми желто-медовыми бусинками глаз, Векшин. — Вот с этим самым паспортом он грабит и убивает *своих!* Хуже фашистов они! — повторил он для убедительности.

«Много ты про фашистов знаешь!» — подумал я, но говорить ничего не стал, поняв уже, что сделал глупость, вступив в спор: теперь уже не осталось никаких шансов — после того как я проявил такую неграмотность, — что меня могут послать вместо Векшина на встречу с бандитами.

И совещание скоро закончилось. Время тянулось невыносимо медленно. Жеглов дал мне талон на обед, и все сходили в столовую на первом этаже, кроме Векшина, который на всякий случай из жегловского кабинета не выходил, и ему принесли полбуханки хлеба и банку тушенки, и он все это очень быстро уписал, запивая водой из графина и облизывая худые пальцы в заусеницах. Рядом с неровными буквами «Вася» на руке у него была россыпь цыпок, и, глядя на них, я почему-то вспомнил мальчишескую примету, будто цыпки вырастают, если в руки берешь лягушек. «Пацан еще, — подумал я снисходительно, уже простив Векшина за его высокомерные наскоки. — Совсем пацан».

Тогда я еще не знал, что на счету у «пацана» значились не только три десятка изловленных воришек, но и грабительская шайка Яши Нудного, повязанная благодаря исключительному умению Векшина влезть в душу уголовного.

— У тебя оружие с собой? — спросил его Жеглов.

— А как же! — Векшин приподнял полу своего люстринового пиджачишка и похлопал ладонью по кобуре револьвера. — Я без него никуда.

Жеглов ухмыльнулся:

— Надо будет его оставить. Он тебе там ни к чему...

— Неужели нет?.. — ответно ухмыльнулся Векшин и отстегнул кобуру.

Тягуче сочилось время, капали ленивые минуты, и, если бы позеленевший медный маятник не качался монотонно в длинной коробке стальных часов, можно было бы подумать, что они остановились навсегда. Дождь дудел в окно, как в сломанную губную гармошку, невыносимо однообразно: «Бу-бу-бу», пугающе-яростно прокричала на улице «скорая помощь», шаркали и неровно топо-

тали в коридоре тяжелые шаги, и в половине девятого, когда Жеглов, встав, сказал: «Всё, пошли!» — все вскочили, шумно завозились, натягивая плащи и кепки, затолпились на миг перед дверью. Жеглов щелкнул выключателем, и желтую слабую колбочку лампы словно раздавила прыгнувшая из углов тьма, и в этой чернильной мгле невидимая тарелка радиодинамика прошелестела своим картонным горлом нам вслед: «Московское время — двадцать часов тридцать минут. Передаем романсы и арии из опер в исполнении заслуженной артистки РСФСР Пантофель-Нечецкой...»

В Колобовском переулке Векшин ушел вперед, а мы шли за ним метрах в ста, потом и мы растянулись; и, когда Вася занял скамейку на Цветном бульваре, третью слева от входа со стороны Центрального рынка, одиноко стоявшую в просвете между кустами, далеко видную со всех сторон, мы с Жегловым пристроились у закрытой москательной лавочки, за будкой чистильщика, заколоченной толстой доской.

Отсюда нам был виден тщедушный силуэт Векшина, сторбившегося на скамейке под холодным морозящим сентябрьским дождиком. Гость, которого все ждали, появиться незаметно не мог, да и уйти незаметно ему не предвиделось. Прохожих почти совсем не стало на улице. Подсвеченный изнутри синими лампами, проехал трамвай. Я взглянул на свои трофейные часы со светящимся циферблатом и шепнул Жеглову:

— Четверть десятого...

Жеглов сильно сжал мне руку, и я увидел, что рядом с Векшиным остановился высокий мужчина, постоял немного и уселся рядом. Я никак не мог сообразить, откуда тот взялся: все подходы просматривались, и он не мог подойти незамеченным. Я взглянул на Жеглова, и тот шепнул совсем тихо, будто бандит мог его услышать отсюда:

— С трамвая на ходу прыгнул...

Не мог потом я вспомнить, сколько прошло времени, ибо в эти не очень долгие минуты все кипело во мне от досады и возмущения: вот он сидит, бандит, в ста шагах, протяни руку — и можно взять за шиворот, а надо сидеть почему-то здесь, за будкой, затаившись, говорить шепотом, изнемогая от нетерпения узнать, как с ним договорится Векшин.

От Трубной площади со звоном и скрежетом приближался трамвай, и я подумал, что, когда вагоны поедут мимо нас, на какой-то миг мы потеряем из виду Векшина с бандитом. Но бандит вдруг

встал, похлопал Васю по плечу, и мне показалось, будто он пожал Векшину руку, потом повернулся, перепрыгнул через железную ограду бульвара и, пробежав несколько шагов рядом с грохочущим и дребезжащим вагоном, ловко прыгнул на подножку. Красные хвостовые огни уносились к Самотеке, а Вася спокойно сидел на скамейке.

Прошло пять минут, а Векшин почему-то не хотел уходить отсюда. Жеглов протяжно и тоненько свистнул, но Вася и головы не повернул...

— Может, они договорились, что еще кто-нибудь подойдет? — предположил я.

Жеглов только пожал плечами.

Прошло еще десять минут, мы поднялись и медленно пошли в сторону Векшина, по-прежнему сидевшего спокойно и неподвижно. Когда мы подошли к нему вплотную, то я, перевидав на войне много всякого, сразу понял, что Вася мертв. Он смотрел на нас широко открытыми круглыми глазами, на реснице повисла слезка, маленькая, прозрачная, и тонкая струйка крови сочилась из угла рта. Длинный нож-«заточка» вошел прямо в сердце, он пробил насквозь все его худенькое мальчишеское тельце и воткнулся в деревянную спинку скамейки; и потому Вася сидел прямо, как примерный ученик на уроке, и сразу стал он такой маленький, беззащитный и непоправимо, навсегда обиженный, что у меня мороз прошел по коже.

— Расколел его бандит проклятый! — глухо сказал Жеглов.

— Это нам за него надо головы расколоть, — сказал я и, повернувшись к онемевшему Пасюку, велел: — Вызывай «скорую».

Юридический факультет Московского ордена Ленина государственного университета им. Ломоносова объявляет, что 10 октября 1945 года в 18 часов на заседании Ученого совета состоится публичная защита диссертации Евсиковым Х. П. на тему: «Показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук.

Объявление

Вернулись на Петровку мы около полуночи, и Жеглов сразу отправился по начальству. Расселись в кабинете так же, как три с половиной часа назад: Пасюк — в углу на продавленном пыль-

ном кресле, Коля Тараскин — на мрачно блестящем дерматиновом диване с откидными валиками, фотограф Гриша — на подоконнике, откуда все время дуло, фотограф чихал, но с подоконника почему-то слезать не хотел, а я — на своем венском стульчике с медалью ХОЗУ.

Только Васи Векшина не было. И хотя стул Жеглова за обшарпанным канцелярским столом тоже пустовал, но по разбросанным бумажкам, сдвинутым чернильницам, открытым папкам было ясно, что хозяин куда-то выскочил на минуту и скоро явится на свое место. А Векшин пробыл здесь слишком мало, чтобы оставить хоть какой-то, пускай самый маленький, следок в этом и так безликом служебном помещении. И от этого казалось, будто он и не приходил сюда и не было подготовки к операции и спора насчет взятия «языков», не смеялся он здесь тонким мальчишеским голосом. Но на окне еще стояла банка из-под американской тушенки, которую Векшин ел несколько часов назад, облизывая худые пальцы в цыпках. И за бронированной дверцей сейфа лежала его кобура с револьвером.

Я сидел, прикрыв ладонью глаза, и меня не покидало воспоминание, как носилки с уже застывающим Васиным телом вкатили в «скорую помощь», люк машины, белый, с толстым красным крестом, захлопнулся с глухим лязгом, будто проглотил свою добычу, и ЗИС, жадно урча, помчался прочь, обдав нас сладким дымком непрогоревшего бензина.

Место преступления не фотографировали, не описывали, ничего не измеряли и протокола не составляли, а в моем представлении это были основные действия уголовного розыска, и потому, что ими сейчас пренебрегли, в меня снова вошло это ощущение войны, где не было места никаким формальностям и процедурам.

Я медленно думал о том, что Вася Векшин погиб как на фронте, и то, что не стал Жеглов на Цветном бульваре под ночным противным дождиком разворачивать уголовное представление с протоколом, осмотрами, фотографированием сбоку, сверху, крупным планом, в глубине души считал правильным. Обязательно собралась бы толпа зевак, и тогда, казалось мне, смерть Васи была бы чем-то унижена, словно он не разведчик, погибший в бою, а какой-то беззащитный прохожий, несчастный потерпевший, а мы сами — Жеглов, Пасюк, Тараскин и остальные, — суеются около Васиного тела на глазах прохожих, казались бы им необычайно сильными, смелыми муровцами, которые уж наверняка не попали бы под нож

бандита, а наоборот, бесстрашно ловят его, в то время как этот бедолага не смог защититься.

Я ушел на фронт мальчишкой и весь свой жизненный опыт приобрел на войне. И наверное, поэтому смотрел на мир глазами человека, у которого в руках всегда есть оружие; и от этого безоружные мирные люди невольно казались мне слабыми и всегда нуждающимися в защите. И Вася Векшин, который сознательно хотел сделать беззащитность своим оружием, не должен был, с моей точки зрения, становиться поводом для сочувственных или испуганных вздохов толпы случайных прохожих, а поскольку нельзя было этим людям крикнуть, что он умер, приняв в себя нож, который, в сущности, был направлен в них всех, то надлежало, забрав тело товарища, уйти, чтобы без лишних слов, клятв и обещаний сделать все нужное, что на войне полагается, дабы воздать достойно за все...

В общем, так оно и получилось. Только когда приехала карета «скорой помощи», Жеглов отодвинул на один шаг молодую врачиху в накиннутой на плечи шинели, бормотнул быстро: «Одну минуточку, доктор», снял с себя шарфик, очень осторожно обернул им ручку ножа и резко выдернул его из раны. Врачиха с оторопью посмотрела на него, а Жеглов протянул Пасюку завернутый в шарф нож и сказал:

— Держи аккуратно, Иван, на ручке, может быть, «пальцы» остались...

А сейчас Жеглов ходил по начальству докладывать о провале операции. И хотя я никого из начальников на Петровке не знал, но легко представлял себе, каково сейчас достается Жеглову...

Текли минуты, часы. Коля Тараскин задремал на диване, и сны ему снились, наверное, неприятные, потому что он еле слышно постанывал, тоненько и протяжно: «Ой-ой-ой...» Пасюк расстелил на столе газету и, разобрав свой ТТ, смазывал каждую детальку. Гриша невесело насвистывал что-то. Я выпрямился на стуле, спросил у Пасюка:

— А что это за банда такая — «Черная кошка» эта самая?

Пасюк поднял на меня прозрачные серые глаза, пошевелил бровями, сказал медленно:

— Банда. — Помолчал, добавил: — Банда — вона и есть банда. Убийцы та грабители. Сволочь отпетое. Поймаем, бог даст, уси под «вышка» пойдуть. Тебе вон Шесть-на-девять пусть лучше расскажет, он говорун у нас наиглавный...

Фотограф, видимо, уже привык к своему необычному прозвищу, или мнение Пасюка его мало волновало, или желание рассказать было в нем сильно, но, во всяком случае, Пасюку он ничего не ответил, только рукой махнул на него и протянул презрительно:

— Ба-а-нда — она и есть ба-а-нда! Она ни на одну другую банду не похожа, потому нам и поручено ее разрабатывать...

— Особо тебе, — разлепил в усмешке заветренные узкие губы Пасюк. — На тебя сейчас уся надежда...

А фотограф сказал мне:

— Банду эту второй год ищут, а выйти на след не удастся. Был бы я Лев Шейнин — обязательно об этом деле книгу бы написал!

— А о чем же писать, коли следов никаких нет? — поинтересовался я.

— Нет, так будут! — уверенно сказал Шесть-на-девять. — Хотя, конечно, увертливые они, гады. Грабят зажиточные квартиры, продовольственные магазины, склады, людей стреляют почем зря. И где побывали, или углем кошка нарисована, или котенка живого подбрасывают.

— А зачем? — удивился я.

— Для бандитского форсу — это они вроде бы смеются над нами, почерк свой показывают...

Распахнулась дверь, вошел Жеглов, мы все повернулись к нему, и он сказал:

— Значитца, так: ты, Пасюк, завтра с утра поедешь с телом Векшина в Ярославль, от нас всех проводишь его в последний путь, мать его постарайся успокоить. Хотя какое, к чертям собачьим, тут придумаешь успокоение!

Лицо у него было черное, подсохшее, будто опаленное, и камнями ходили желваки на скулах.

Пасюк вытер жирные от ружейного масла пальцы о лоскут газеты, аккуратно свернул его и бросил в корзину, встал, коротко сказал:

— Есть, будет сделано...

— Вы, Тараскин и Шарапов, со мной завтра дежурите в группе по городу.

— А я? — обиженно спросил Гриша Шесть-на-девять. — А я что буду делать?

— Ну и ты с нами, конечно, куда ж тебя девать? Всем спать, немедленно.

Сон был неплотен и зыбок, как рассветный туман, и, лишь на мгновение, кажется, прикрыв глаза, я испуганно вскочил на кровати — показалось, что я проспал. В комнате темно и очень холодно, и мне жаль было вылезать из нагретой за ночь постели. Я вытащил из-под одеяла руку и посмотрел на мерцающий зеленым светом циферблат: стрелки плотно слиплись на половине седьмого. Я досадливо крикнул — пропало полчаса сна; и я подумал о том, что утрачиваю фронтovou привычку спать до упора, используя каждую свободную минуту, возмещая вчерашний недосып и стараясь хоть миг вырвать у завтрашнего.

Со стула рядом с кроватью взял папиросу «Норд», чиркнул зажигалкой и глубоко затянулся. Ничего нет слаще этой первой утренней затяжки, когда горячий, сухой дым ползет в легкие, заливая голову мягкой одурью, и тело наполняется радостным ощущением бездельного блаженства, когда точно знаешь, что у тебя есть несколько свободных от беготни, суеты и забот минут, отданных всецело пустому глядению в потолок и удовольствию от горьковато-нежного табачного вкуса.

Окно комнаты выходило на перекресток у Сретенских ворот, и когда машины на улице, сдержанно урча, сворачивали с бульвара на Дзержинку, свет их фар белыми плотными столбами таранил стекло и, ворвавшись в комнату, упирался в стену, на одно мгновение замирал, словно в раздумье, куда ему дальше деваться, и затем стремительно прыгал на потолок яркими сплошными пятнами, прочерчивал его наискось и прятался в углу за карнизом, будто там была дырка, через которую он навсегда исчезал из комнаты.

Я лежал, глазел на прыгающие со стены на потолок пятна голубоватого света, курил папироску и думал о том, что в МУРе мне, наверное, придется нелегко. Чуть больше суток минуло с того момента, как я вошел в желтый трехэтажный особняк Управления милиции, предъявил в подъезде пропуск, поднялся на второй этаж, разыскал комнату номер 64 и постучал в дверь.

— Открыто! — крикнули тонким голосом из кабинета.

Я вошел и представился по-уставному:

— Оперуполномоченный старший лейтенант Шарапов для прохождения службы прибыл!

Хозяин кабинета, по-видимому тот самый знаменитый старший оперуполномоченный Глеб Жеглов, начальник оперативной бригады отдела по борьбе с бандитизмом, к которому меня напра-

вили для стажировки, сидел за письменным столом, заваленным папками и исписанными на машинке листами. Меня удивило, что у знаменитого сыщика такой невзрачный вид: был он очень тощ, очень длинен и очень сильные очки в роговой оправе сидели косо на хрящеватой переносице. И наверное, от сознания физической своей немощности держался он очень важно. Смотрел поверх меня, откидывая голову и задирая высоко подбородок, и хотя происходило это, скорее всего, от недостатка зрения, вид у него при всей его нескладности все равно был крайне высокомерный.

— Ну здравствуй, Шараров! — сказал он наконец. — Из кадров о тебе уже звонили. В общем, мы таким тебя и представляли...

Я не понял, кто это «мы», но отчего-то мне стало неловко, и я ответил, пожав плечами:

— Обыкновенный...

— Конечно обыкновенный, только вот такие обыкновенные фронтовые ребята и нужны нам. Чем занимаемся, знаешь?

Я кивнул, но, видимо, не совсем уверенно, потому что оперативник важно сказал, подняв вверх палец:

— Бандитизм. Убийства. Разбой. А это тебе не фунт изюма. Ты на фронте разведчиком был?

— Точно. Командир разведроты.

— Приживешься. Весной будет набор в юршколы — мы тебя туда быстренько затолкаем...

В этот момент с шумом растворилась дверь, и в кабинет влетел парень — смуглый, волосы до синева черные, глаза веселые и злые, а плечи в пиджаке не помещаются. Мельком взглянул, засмеялся — как пригоршню рафинада рассыпал:

— Ты Шараров? Здорово! Жеглов моя фамилия...

Я удивленно посмотрел на человека за столом, а Жеглов крикнул ему:

— Ну-ка, отец Григорий, кыш со стула!

— Я тут поработал немного, — сказал задумчиво, важно Григорий, медленно разогнул свои бесчисленные суставы и выпрямился, как штатив на пляже.

— Вы тут уже, наверное, познакомились? — спросил Жеглов.

— Ну, более-менее, — пробормотал я, а Григорий солидно покачал головой:

— Я пока кое-что объяснил товарищу про нашу работу...

Жеглов искоса посмотрел на него, засмеялся и сказал:

— Шарапов, ты запомни — это великий человек, Гриша Ушин, непревзойденный фотограф, старший сын барона Мюнхаузена. Мог бы зарабатывать на фотокарточках бешеные деньги, а он бескорыстно любит уголовный розыск...

— Ну знаешь, Жеглов, мне твои оскорбительные выходки надоели! — закричал Гриша; он покрылся неровными красными пятнами, и стекла очков у него запотели. — Если ты хочешь со мной поругаться...

— Упаси бог, Гриша! — захохотал Жеглов. — Шарапов — человек военный, он тебя лучше всех поймет. Не твоя же вина, что медкомиссия тебя до аттестации не допускает. Но разве дело в погонах? А, Гриша? Все дело в бесстрашном сердце и быстром уме! Так что ты еще нами всеми здесь покомандуешь!

Гриша хотел было дать достойный ответ Жеглову, но в кабинет вошли двое — квадратный человек с неприметным серым лицом и совсем молоденький парнишка, и я узнал, что их фамилии — Пасюк и Векшин, а еще через минуту прибежал Коля Тараскин и задыхающимся шепотом сообщил, что звонил Сенька Тузик: бандиты назначили встречу...

Так я вошел в группу Жеглова, и было это двадцать часов назад, и произошло с нами всеми за этот день такое, что у меня теперь не будет времени на привыкание, учебу и притирку — надо с ходу заменять погибшего сотрудника...

На кухне огромной коммунальной квартиры оказался только один человек — Михаил Михайлович Бомзе. Он сидел на колченогом табурете у своего стола — а на кухне их было девять — и ел вареную картошку с луком. Отправлял в рот кусок белой рассыпчатой картошки, осторожно макал в солонку четвертушку луковицы, внимательно рассматривал ее прищуренными близорукими глазами, будто хотел убедиться, что ничего с луковицей от соли не произошло, и неспешно с хрустом разжевывал ее. Он взглянул на меня так же рассеянно-задумчиво, как смотрел на лук, и предложил:

— Володя, если хотите, я угощу вас луком — в нем есть витамины, фитонциды, острота и общественный вызов, то есть все, чего нет в моей жизни. — И, покачав лысой острой головой, тихо перхал, засмеялся.

— В нем полно горечи, Михал Михалыч, — сказал я, усаживаясь напротив. — Так что давайте я лучше угощу вас омлетом из яичного порошка!

— Спасибо, друг мой, вам надо самому много есть — вы еще мальчик, у вас всегда должно быть чувство голода. — Он смотрел на меня прищурясь, и все его лицо было собрано в маленькие квадратные складочки, а кожа коричневая — в темных старческих пятнах. И может быть, потому, что Михал Михалыч вытягивал сильно голову из коротенького плотного туловища с толстыми лапками-руками и маленькими ногами, казался он мне очень похожим на старую добрую черепаху. И носил он к тому же коричневый костюм в клетку, цветом и мешковатостью напоминавший ячеистый панцирь.

Я бросил на сковороду комок белого свиного лярда, разболтал в чашке яичный порошок — желтая жижа с бульканьем и шипением разлилась на черном чугуне, — потом принес из комнаты буханку черного хлеба и сохранившиеся шесть кусков сахара, а у Бомзе был чай на заварку. Так что завтрак у нас получился замечательный.

Старик ел мало и медленно, и я видел, что еда не доставляет ему никакого удовольствия — ест, потому что если не есть, то, наверное, скоро умрешь. Вот он и ел, не ощущая вкуса, равнодушно и неторопливо, будто выполнял скучную, надоевшую работу. Потом отложил вилку и сказал:

— Впрочем, вы уже не мальчик. Вы уже мужчина. Сколько вам минуло?

— Двадцать два.

— Двадцать два, двадцать два... — Старик высунул из-под панциря и снова спрятал острую головку. — Как я был счастлив в двадцать два года!

От воспоминаний он прикрыл тонкие синеватые перепоночки век, и со стороны можно было подумать, что старик заснул. Но он не спал, потому что зашевелились лапки на столе, и он спросил:

— Володя, а вы счастливы в свои двадцать два?

Я пожал плечами:

— Не знаю, вроде бы все нормально.

— А я точно знал, что счастлив. И счастье, когда-то огромное, постепенно уменьшалось, пока не стало совсем маленьким — как камень в почке...

Я посмотрел на него искоса: в уголке черного мутного глаза застыла печаль, едкая, как неупавшая слеза. Жалко было старика — уж больно тоскует.

— Михал Михалыч, ну что вы здесь один маетесь? У вас же есть какие-то родственники или друзья в Киеве — вы бы поехали к ним, все-таки веселее...

Бомзе покачал своей маленькой сухой изморщиленной головой, грустно усмехнулся широким черепашным ртом.

— Сколько улитка по земле ни ходит, от своего дома все равно не уйдет. Кроме того, — сказал он, минутку подумав, — они все уже старые, а старикам вместе жить не надо. Старикам надо стараться притулиться где-нибудь около молодых — это делает прожитую ими жизнь более осмысленной...

Сына Бомзе — студента четвертого курса консерватории — убили под Москвой в октябре сорок первого. Он играл на виолончели, был сильно близорук и в день стипендии приносил матери цветы. В нашей квартире никто никому никогда не дарил цветов, и эти букетики пробуждали к юноше чувство одновременно жалостливое и почтительное, ибо при всей очевидной нелепости траты денег на цветы, когда их за городом можно нарвать сколько угодно, соседи ощущали именно в этих цветочках нечто возвышенное и трогательное.

Цветы приобрели наглядный смысл, когда старики Бомзе получили извещение о смерти сына. Мать, никогда не болевшая раньше, прожила после этого три дня и умерла ночью, во сне, и обряжавшие ее и хоронившие на Немецком кладбище соседи почему-то больше всего вспоминали про эти цветы, словно они были самым главным, что запомнилось им из короткой жизни мальчика, быстрого, близорукого, извлекавшего из своей виолончели трепетнотягучие, волнующие и не очень понятные мелодии...

— А вы довольны своей новой работой, Володя? — спросил Михал Михалыч.

— Как вам сказать... Я еще и сам не разобрался, — уклончиво ответил я, вспомнил Васю Векшина и подумал, что вряд ли тот был старше сына Михал Михалыча. И больше ничего говорить не стал, потому что старику вовсе не следовало знать, как я провел свой первый день в МУРе. Посмотрел на часы и стал торопливо собираться.

— Оставьте, Володя, я сам потом вымою посуду — я ведь на свою работу не опоздаю, ибо удачно пошутить никогда не поздно... — сказал старик.

Работа у Бомзе была необычная. До войны я вообще не мог понять, как такую ерунду можно считать работой: Михал Михалыч

был профессиональный шутник. Он придумывал для газет и журналов шутки, платили ему очень немного и весьма неаккуратно, но он не обижался, снова и снова приносил свои шутки, а если они не нравились — забирал или переделывал. Он любил повторять, что, к счастью, за самые лучшие шутки и анекдоты ему не назначили гонорара. Называлась его профессия «юморист-малоформист», и меня всегда удивляло, как может придумывать действительно смешные шутки и истории такой унылый и тихий человек...

Мне показалось, что Михал Михалыч хочет сказать что-то важное, но на кухню ввалилась Шурка Баранова со всеми пятью своими отпрысками, и сразу поднялся здесь невыразимый гвалт, суета, беготня, топот, крики, смех и плач одновременно, дети хватили из тарелки картошку Бомзе, дергали меня за ремень, один подлез под полу шинели, чтобы пощупать кобуру пистолета, другой забрался к старику на колени, все они хотели кричать, бегать, есть, они хотели жить, и я понял, почему старик не желает уезжать отсюда в Киев не то к друзьям, не то к родственникам.

КЛЕВ РЫБЫ

На подмосковных водоемах изо дня в день усиливается клев рыбы. Щука берет лучше всего на Истринском водохранилище. Здесь попадаются экземпляры весом в 4–5 кг. Хорошо клюет и окунь, нередко довольно крупный, 600–700 граммов.

«Вечерняя Москва»

В отделе было шумно: опердежурный Соловьев выиграл по довоенной еще облигации пятьдесят тысяч. Счастливчик, очень довольный и гордый, слегка смущаясь, благодарил за поздравления, с которыми к нему приходили даже люди малознакомые. Торжество достигло вершины, когда явился редактор управленческой многотиражки с фотографом. Правда, тут Соловьева обуюла скромность, и он стал отказываться, бормоча, что ничего особенного он не сделал, но редактор быстро урезонил его, подсказав, что помещать его портрет в газете будут не от восхищения замечательными соловьевскими глазами, а потому, что это дело политически важное.

Потом пришел Жеглов, которому Соловьев в тысячный раз поведал, как он вчера «так просто, от скуки, чтоб время, значит, убить» проверил номера облигаций по первому послевоенному тиражу:

— Смотрю, братцы вы мои, серия сходится! А как увидел выигрыш — полтинник, — так и номер проверять опасаясь, вдруг, думаю, не тот, получи тогда «на остальные номера выпали...». Отложил я газету на диван, пошел перекурить...

— А сердце так и бьется, — сочувственно сказал Жеглов.

— Ага... — простодушно подтвердил Соловьев. — Зову Зинку. Зинк, говорю, у тебя рука счастливая, проверь-ка номер... Да, братцы, это не каждому так подвалит...

— Еще бы каждому! — подтвердил Жеглов. — Судьба, брат, она тоже хитрая, достойных выбирает. А как тратить будешь?

— Ха, как тратить! — Соловьев залился счастливым смехом. — Были б грóши, а как тратить — нет вопроса.

— Не скажи, — помотал головой Жеглов, — «нет вопроса»... К такому делу надо иметь подход серьезный. Я вот, например, полагаю, что достойно поступил Федя Мельников из третьего отдела...

— А чего он? — спросил Соловьев озадаченно.

— А он по лотерее перед самой войной выиграл легковой автомобиль ЗИС-101, цена двадцать семь тысяч.

— И что?

— Что «что»? Как настоящий патриот, Федя не счел правильным в такой сложный международный момент раскатывать в личном автомобиле. И выигрыш свой пожертвовал на дело Осоавиахима, понял?

Лицо Соловьева сильно потускнело от этих слов Жеглова, как-то пригасло оно от его рассказа, помялся он, пожевал губами, обдумывая наиболее достойный ответ, и сказал:

— Мы с тобой, товарищ Жеглов, люди умные, должны понимать, что война кончилась, государство специально тираж разыграло, чтобы людям, за трудные времена пообтрепавшимся, облегчение сделать. Да и Осоавиахима уже нет никакого...

Жеглов ухмыльнулся, потрепал Соловьева по плечу, сказал не то всерьез, не то шутейно:

— Это, Соловьев, только ты умный, а я так, погулять вышел... Конечно, вместо Осоавиахима я бы тебе другой адресочек мог подбросить, но, вижу, ты к этой идее относишься слишком вдумчиво. Поэтому, так и быть, ограничимся коньячком с твоего выигранного капитала. Сделались?

Соловьев явно обрадовался благополучному исходу.

— Что за вопрос между друзьями! — сказал он важно. — Обмоём, как водится!

— Не обманешь? А то на посуле как на стуле: посидишь, да встанешь, — недоверчиво покачал головой Жеглов и, будучи не в силах уgomониться, добавил: — К тому же теперь будет у кого перехватить до полочки, а?

Соловьев готовно покивал, но в глазах его я особой радости по поводу жегловских планов не заметил.

— Теперь дочке пианино куплю, — сказал он. — А то в школу на трех трамваях ездит, покою нету... Жене, Зинке, отрез панбархата возьму, в комиссионке на Столешникове видел. Ши-икарный отрез, розовый, две с половиной стоит...

— А слоники у тебя на комодe есть? — поинтересовался Жеглов.

— Какие еще слоники? — не понял дежурный.

— Семь таких слоников, мал мала меньше, они еще счастье приносят.

— А у тебя эти слоники есть? — спросил, подумав, Соловьев.

— Есть, — соврал Жеглов и «подставился».

Радостно захохотав, Соловьев заорал:

— Вот у тебя есть, а у меня нет, а счастье все равно мне подвалило! Суеверие одно, товарищ Жеглов, ты на них, на слоников, не надейся...

— Ну и дурак, — сказал Жеглов и хотел еще что-то добавить, но зазвонил телефон.

Глеб снял трубку, и по ходу разговора улыбка сошла с его лица, вытянулось оно, и жестко сжались губы.

— Хорошо, — отрывисто сказал он в трубку. — Сейчас выезжаем. — Дал отбой и скомандовал: — Бригада, на выезд. В Уланском — труп ребенка!

Во дворе около столовой стоял старый красно-голубой автобус с полуоблезшей надписью «Милиция» на боку. Шесть-на-девять крикнул мне:

— Гляди, Шарاپов, удивляйся: чудо века — самоходный автобус! Двигается без помощи человека...

Трофейный «опель-блиц» наверняка за долгую свою жизнь повидал виды. От старости и того невыносимо тяжелого груза, что пришлось ему повозить за долгие годы, просели рессоры и высохли амортизаторы, машина будто припала к земле громоздким брюхатым кузовом на хилых перелатанных баллонах и неуклюжей статью своей и плоской придавленной мордой походила на огромного больного бульдога.

Водитель автобуса Копырин ходил вокруг машины, задумчиво пиная колеса, и недовольно качал головой, не обращая внимания на подначки оперативников. Взглянул на меня и, может, потому, что я один не смеялся над его транспортом, сказал мне доверительно:

— Эх, достать бы два баллона от «доджа», на задок поставить — цены бы «фердинанду» не было.

— Какому «фердинанду»? — спросил я серьезно.

Копырин засмеялся:

— Да вот они, балбесы наши, окрестили машину, теперь уж и все так кличут. Мол, на самоходку немецкую, «фердинанд», сильно смахивает...

Я улыбнулся: и верно, в приземистой кургузой машине было что-то общее с тупым напористым ликом самоходного орудия.

— Ты-то сам против них стоял когда? — спросил Копырин.

— Случалось, — ответил я, и в этот момент прибежал Жеглов.

Копырин влез в кабину. Пассажирскую дверь он отпирал длинным рычагом, когда-то никелированным, а теперь облезшим до медной прозелени и все-таки не потерявшим своего шика — гнутая ручка на фигурном кронштейне.

Первым в автобус прыгнула огромная дымчатая овчарка Абрек, степенно залез проводник-собаковод Алимов, нырнул ловко Коля Тараскин, загремел на ступеньках своей аппаратурой и нескладными суставами Шесть-на-девять, осторожно, будто в лодку вошел, подался судмедэксперт, я шагнул — раз-два, к переднему сиденью в углу. Жеглов встал на подножку, молча оглядел всех, словно еще раз проверил, есть ли смысл брать нас с собой, и только тогда кивнул шоферу.

Копырин нажал ногой на педаль, стартер завыл так тонко и горестно, так скулил он от истощения и старости аккумулятора, что пес Абрек тревожно поднял голову, дыбком воздел уши и ответил ему низким рыком. Шесть-на-девять, восседавший на кондукторском месте, уже открыл рот, чтобы оценить должным образом ситуацию, но Жеглов бросил на него короткий взгляд, быстро сказал:

— Помалкивай...

И мотор наконец чихнул, затем еще раз, еще — вспышки разрослись в частый треск, — заревел громко и счастливо, заволок двор синим едучим угаром, и «фердинанд» тронулся, выполз на Большой Каретный и взял курс на Садовую.

Жиденьякая толпа стояла у дверей подъезда во дворе пятиэтажного дома в Уланском переулке. Копырин лихо затормозил, проводник выскочил с Абреком первым, за ним, дробно грохоча каблучками по металлическим ступенькам автобуса, вывалились остальные. Навстречу им шагнула девушка в милицейской форме, четко вскинула руку к козырьку:

— Здравия желаю! Докладывает младший сержант Синичкина: вызов оказался ложным, ребенок жив, это просто подкидывш.

— А что же сразу не могли разобраться — жив ребенок или нет? — недовольно спросил Жеглов. — Какого черта дергаете по пустякам муровскую бригаду?

Девушка покраснела, быстро ответила:

— Вызов к дежурному по городу был сделан соседями еще до того, как я прибыла на место происшествия. Я пришла со своего поста десять минут назад и сразу позвонила на Петровку, но вы уже выехали...

— А где сейчас ребенок? — поинтересовался Жеглов.

— Его в квартиру пока внесли, там наверху, — показала Синичкина рукой. — Чего же ему еще на холоде терпеть?

— А почему вообще решили, что он мертвый? — все еще сердито допытывался Жеглов.

— Его обнаружил на лестничной клетке около чердачной двери слесарь Миляев...

Из-за ее спины вырос невысокий парень в замызганной черной краснофлотской шинели, на деревянной ноге, затараторил бойко-бойко, сглатывая концы фраз:

— Елки-моталки, а чего ж мне еще-то думать, когда иду я на чердак, магистраль бандажить, а оно здесь и лежит, кулечек махонький, люля запеленутая, и тишина гробовая — ни тебе крика, ни сопения, а сплошное молчание, — и взял меня страх, что какая-то стервоза, извергиня, собственное дите жизни лишила, ну, я тут сразу же бегом в тридцать вторую квартиру — телефон у них — и вызвал власти милицейские, чтобы дознались они про этого демона в женском обличье...

— Все понятно, — кивнул Жеглов. — Ну, раз приехали, давай, Шарпов, поднимемся с тобой, взглянем на найденыша...

— А что же делать-то с ним, с маленьким? — спросила Синичкина. — Он ведь такой крошечный, как будет без матери — непонятно...

СОДЕРЖАНИЕ

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ	5
ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ	371